Эта книга появилась на свет благодаря хорошим людям, настоящим друзьям. Читатель, помяни в сво-их молитвах Марину, Ольгу, Елену, Ксению, Людмилу, Наталью, Светлану, Екатерину, Ольгу, Светлану, Инну, Елену, диакона Дионисия, Романа, Наталью, иерея Михаила, а также Митрополита Саратовского и Вольского Лонгина, без помощи которого ее вряд ли удалось бы издать.

Марина Бирюкова



Гуси летят домой — через всю мою память — и тонут в детском беспамятстве.

Марина Бирюкова

Щегол



Саратов • 2012

ББК 84(2Poc=Pyc)6-5 Б64

По благословению Митрополита Саратовского и Вольского ЛОНГИНА

Бирюкова Марина Александровна.

Б64 Щегол: Стихи. — Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2012. — 84 с.

ISBN 978-5-98599-123-9

ББК 84(2Рос=Рус)6-5

ISBN 978-5-98599-123-9

- © Бирюкова М.А.
- © Издательство Саратовской митрополии, 2012

«...ОДНО ИЗ ВЕДОМЫХ ЧУДЕС» О стихах Марины Бирюковой

Главная тема Марины Бирюковой — трудная встреча с чудом, труд встречи с чудом. Жизнь — это постоянный подвиг обретения душевного мира, а каждое ее стихотворение — побег из катастрофы в природу, в снег, в листопад, в ежедневное кружение труда. Мир каждую минуту предлагает доказательства своей онтологической подлинности, готовности стать для нее домом и спасением, и Марина Бирюкова как никто другой умеет увидеть и показать сокровенную его доброту. Чудом, спасающим душу от безысходности, может стать всё, стоит лишь перейти «линию фронта, границу свободы» и остаться один на один с самим собой:

Как ни разбита, ни слаба, уроки дня сего усвою. Головка тёмная гриба приподняла сырую хвою, сейчас достану ржавый нож... Белеет срез. Кричат сороки. Учусь тому, что мир хорош, — какие трудные уроки!

Конечно, этот сугубо романтический побег не может состояться. Утешающая и неброская красота леса, поля, деревни в лирике Марины Бирюковой обращена к человеку смятенного духа, остро переживающего свою боль-вину, напрочь лишенному романтических иллюзий. Для того чтобы достичь состояния покоя или, лучше сказать, причастности бытию, необходимо напряжение всех душевных сил, это не постоянная ровная нота существования, а головокружительное путешествие духа в те сферы, где он просто не в состоянии находиться долго. Утраченный рай есть утраченный рай. Что можно с ним сделать? «Описать? Не знаю. Нет». Уподобиться в тишине и смирении его мельчайшим «обитателям»: воробью, снежинке, пожелтевшему листу? Но этого недостаточно:

А я прогноз читаю, чтобы узнать наверное, когда

Господь подарит нас весной — поскольку нет во мне доверья; не такова я, как деревья, что всякий день передо мной.

Марина Бирюкова произносит святые имена с предельной осторожностью, как будто у нее есть некий лимит неповторимых слов и она боится растратить его раньше времени. Иногда христианские образы входят в ее лирический пейзаж как бы ненароком, например, отражаясь в холодной воде, в которой полощется белье.

Чувствуется, что стихи Марины, все, особенно о самом главном, прошли через жесткую самоцензуру. Из них изгнан всякий пафос, всякая сентиментальность, все ложное и суетное. Не осталось ничего, что

не было отмечено печатью самообвинения. Из этой боли рождаются лучшие ее стихи:

Мы званы и выпьем — пусть корчится бес — по доброму случаю выпьем такому за лилию в поле, за птицу небес, за блудного сына, идущего к дому,

за соль и за свет, за начало начал — за Слово у Бога... Но что это с нами? Петух закричал? Молоток застучал? Что короток пир — мы заранее знали.

Окажется страшною наша вина, и горе за горло ухватит и сдавит, и радость от этого, друг мой, вина уйдёт. И воротится. И не оставит.

Екатерина Иванова, доцент СГСЭУ, кандидат филологических наук

* * *

Поэзия Марины Бирюковой для меня — опыт благодарения, опыт ощущения значительности каждого мгновения жизни — уходящей, продлеваемой в памяти, дарованной, своей. Стихи помогают Марине выйти из беды и тоски. Мне ее стихи тоже помогают. Притягивают смелость и точность выговаривания глубины. В неожиданных звуковых, цветовых, осязательных образах са-

мое удивительное — зрячесть души и смиренное ощущение своей неготовости, недостойности.

И через все стихи — главный мотив: «И всё, что знаю, — вести есть». Услышать, разгадать эти вести — что выше для поэта?

Стихи Марины Бирюковой расширяют, «растепляют» душу. Но при этом и собирают ее, отцентровывают.

> Людмила Герасимова, профессор СГУ, кандидат филологических наук

У Ивана Бунина есть замечательные строчки: «Нет, не пейзаж влечёт меня,/Не краски я стремлюсь подметить,/А то, что в этих красках светит, —/Любовь и радость бытия». Они могли бы стать эпиграфом и ключом ко многим стихотворениям Марины Бирюковой. Биолог по образованию, она внимательно всматривается в окружающий мир. Но это взгляд не натуралиста, подмечающего внешнюю сторону жизни, а поэта, наделённого «метафизическим оком». Такое око позволяет проникать сквозь «грубую кору» бытия, выявляя его красоту, любовь и радость, или грусть — но грусть, которая чревата радостью, ибо всё — от Бога.

> Светлана Кекова, поэт, член Союза российских писателей, профессор СГСЭУ, доктор филологических наук

Мне очень близки слова Александра Кушнера: «Поэзия — переливанье крови/Шекспировской и пушкинской в того,/Кто держит ветхий томик в изголовье/Унынья и упадка своего». Речь здесь идет о катарсисе как неотъемлемом свойстве настоящей поэзии. Никого ни с кем не сравнивая, хочу отметить, что стихи Марины Бирюковой этим свойством обладают. В них ощутима подлинность переживаний — узнаваемых в том смысле, что всех нас жизнь проводит через испытания, потери, состояние отчаяния... У Марины есть дар не просто запечатлеть эти переживания, но посредством искусства преодолеть их: без жаления себя, без сентиментальности — просто, достойно, благородно.

Оксана Гаркавенко, преподаватель СПДС, кандидат филологических наук



Не может быть урока проще: научит, если подобрать, любой листок в осенней роще меня науке умирать —

чтоб я себя преображала освобождаемым огнём и малодушья избежала при угасании своём.

Тепла земля, хрустальна муха, зеркальна чёрная река, и тяжелейшая наука пока обманчиво легка.

Пока ещё не умираю, хотя уже вполне живу живу, брожу и подбираю и возвращаю на траву.



Я стою в полутьме придела, за окном шелестит снежок, раньше, нежели я хотела, мальчик свечку мою зажёг.

Мне ль мой собственный путь неведом, я ль не знаю, чего хочу? Но дитя за своею следом зажигает мою свечу.

Это знак: не решай за Бога, Богу ведомы одному ты сама и твоя дорога... Как я это теперь приму?



Желтея трухлявой своей древесиной, под нашим окошком лежало бревно; подарено маме соседкою Зиной, пилы и печи избежало оно.

Весною пошло оно в доброе дело: усвоившей буквы, понравилось мне крошить его хрупкое рыжее тело, гнилушкою мягкой писать на стене.

И всё было правильно— даже ошибки, и все были рады— коза, воробьи... Забуду ли тёмные доски обшивки и охристо-рыжие буквы свои?

А позже меня подломило и сбило, и стали беспомощны правила, но — не мне ли на счастье нетленное было даровано это гнилое бревно?



Кабы не падавший сутками снег, кабы не эти глухие сугробы – вряд ли удался бы смелый побег, прошлое быстро меня догнало бы.

Не из больших он, однако, удач, не сорвала бы я с горла аркана, кабы не оттепель, кабы не грач, кабы не дерево в каплях тумана.

Стало быть, я у беды на виду, я оторвусь от неё понемногу, кабы не дерево в белом цвету – я бы теперь потеряла дорогу.

Тёмные яблоки в каплях дождя, прошлые беды – непрошлые годы... Тихо войду в листопад, перейдя линию фронта, границу свободы.



Чернеет лес, блестит морозец, уже с пяти угра светло. Сниму, сбираясь на колодец, с косого гвоздика ведро —

теперь, как той моей весною, по самый верх стоит вода... Беда была тогда со мною, не до весны, когда беда.

Но я вдохнула нынче воздух весны потерянной моей, когда качнула воду в досках, разбила зеркало ветвей.

Не Бог ли это нас прощает, когда наставшая весна все наши весны возвращает — и словно жизнь возвращена.



Закат рубиновою точкой в холодной капле на коре, весенней сохнущею бочкой немного пахнет во дворе:

её отмыли и надели на крепкий серый частокол, и я участвовала в деле — несла и ставила на стол

тарелку с кислою капустой — последней, собранной со дна — к хорошей жизни той невкусной капустою приобщена —

к суровой жизни и смиренной... Брожу, круша вечерний лёд, а наша бочка во Вселенной, как тело странное, плывёт.



Горячий абажур. Неяркий гобелен: олень уходит в лес. Немало перемен у нас произошло, и наш фамильный рок — он всё же, право, рок. Тепло желтеет бок

за узким и косым коричневым стволом — олень уходит в лес, а дом пойдёт на слом, когда и я умру — а я в тяжёлый день оленя на стене увидела впервые...

Зачем полсотни лет не видели живые, как нежен, и нелеп, и верен сей олень?..



Свежий снег на самом деле удивительно пушист, на заре крылом задели тёмно-рыжий крепкий лист.

Он лежит на синем, белом, золотом сухом снегу... Мне пора заняться делом, я теперь уже смогу

что-то сделать с этим солнцем, снегом, деревом, листом, с ярким ситцем за оконцем, за серебряным кустом...

По сугробу цепь отметин — той сороки, верно, след... Что хочу я сделать с этим — описать? Не знаю. Нет.



Точно шарики, воробьи на мохнатой седой берёзе. Как чудесно шаги мои на вечернем звучат морозе!

Тёмно-розово-дымный цвет полосы за Вороньим бором... Я гощу в городке, в котором у меня и друзей-то нет.

У меня наконец-то есть я сама же — не для того ли провела я неделю здесь, на квартире у тети Оли?

У неё деревянный дом, в этом жарком белёном доме я, в себя приходя, с трудом узнавала себя — и кроме

возвращенья к себе самой, не ждала никакого чуда... А теперь мне пора отсюда в катастрофу свою — домой.



Стоит последнее тепло, водою скорой под корягу кленовый лист уволокло, а я завинчиваю флягу

с лесной водою и кладу её в рюкзак, и через ельник к дороге медленно иду такой вот выпал понедельник.

Как ни разбита, ни слаба, уроки дня сего усвою. Головка тёмная гриба приподняла сырую хвою,

сейчас достану ржавый нож... Белеет срез. Кричат сороки. Учусь тому, что мир хорош, какие трудные уроки!



Воздушный змей

Вон, под маленькой полной луною — белый ромбик. Суровая нить — под углом над полями струною. Мы стоим, перестав говорить

у окна, удивлённые змеем — и зачем-то опять о своём, словно сами парить не умеем, словно в нём себя не узнаём.

Мы всходящую знаем дорогу— через несколько, может быть, лун наши крепкие привязи могут обрести состояние струн.



«В мире душа моя — дух начеку, вот состояние странное, право! Я на своём натворила веку много дурного, и всякая слава

городом шла обо мне, а теперь — нет, будто не было этого — или все навсегда это разом забыли... Я не надеялась, друг мой, поверь,

я не просила. Вина ли, беда всё сотворила, что было со мною взял на Себя Он долги мои, да, взял, как я чувствую, прошлой весною.

Завтра во мраке, но дух начеку, в мире душа под защитою духа...» Это расскажет больная старуха по телефону тебе, старику.



Снегири перемыли хрусталь и к закату оставили двор; на снегу от кочующих стай остаётся берёзовый сор.

А надолго ли в памяти звук? Запишу, что ещё и потом я, услышав, заметила двух на ветвях, под которыми дом.

Записав, удержу на листах эти сумерки и снегопад, и хрустальную музыку птах, и упорные скрипы лопат.

Старой записи благодаря, время затормозит на краю — и пойду я на зов снегиря, и вернусь в эту зиму свою.



Не унимается мороз, но что-то в облике берёз неуловимо изменилось: они почувствовали милость

и стали... как-то мягче, да, нежней! — хотя кругом сугробы. А я прогноз читаю, чтобы узнать наверное, когда

Господь подарит нас весной — поскольку нет во мне доверья; не такова я, как деревья, что всякий день передо мной.



Я твердила себе: «Держись», толковала про грех и зло, а зима началась как жизнь: стало вольно, бело, светло...

С полки варежки достаю и, как жизнь свою всю назад, в эту зиму вхожу свою, в мягкий медленный снегопад.

Листья рыжего камыша над застывшей уже водой... Молодеет во мне душа или кажется молодой?

Старых варежек серый пух, за спиной через поле след... Или то не душа, а дух? — у души ведь и сил-то нет...



За что ты меня наградил, листопад, какие ты знаешь за мною заслуги? Собаку спасла? Не забыла о друге? Но это и малых не стоит наград —

а ты мне свой лучший листок на пальто... Спасибо. О славе мечтать перестала, но быть награждённой незнамо за что хочу иногда, потому что устала.



В ящики плотно уложена свёкла, маленький погреб закрыт на засов, влажными стали оконные стёкла, кончилось время для старых часов.

Мною оставлены астры живые там, где крестами чернеет семья... Кончилось некое время— впервые жизнь свою вижу как будто не я.

Всё наконец-то мне стало понятно, всех как себя понимаю теперь... Солнца нежданного жёлтые пятна, старая верная чёрная дверь.

Рядом часы — а они замолчали... Что за долги ещё здесь у меня? Что я обязана сделать в начале нового времени, краткого дня?



Сирота с поднебесья, смешной завиток, потерявши последнее птичье тепло, обнадёжив дощатый настил и песок, на зеркальную воду у борта легло,

у пятнистого мокрого борта ведра... Я свидетель сему — нисхожденью пера, что лежало поверх отражённых небес, но зачем одиночеству столько чудес?

Чтоб кормить ими душу? Не будет сыта! Отражается в мелкой воде высота, покидает горячую птицу перо... Стану в письмах своих я рассказывать про

чудеса, что зачем-то на каждом шагу, только в письмах к тебе я про них и могу.



Проснёшься ночью — о плохом не думай — только о хорошем: о набухании горошин на влажной марле, а потом —

о тёплом грунте. О щенке. О Третьяковской галерее... Не повисай на волоске, но выбирай себе скорее

одно из ведомых чудес, одно из тысячи спасений: смотри, вот это зимний лес, а это он же, но осенний,

и это всё твоё, пока беда стоит, войти не смея: от лопоухого щенка до отрока Варфоломея.



Кончается январь, своей железной клетки не смог нагреть фонарь, что озаряет ветки

и кирпичи стены; вокруг него предметы тепло озарены, при этом не согреты.



…я просто вступаю во время труда, во время терпенья, борьбы и печали, зачем-то ведь надо, чтоб мы не всегда лекарства от боли земной получали.

Зачем — постигаю, без них обходясь, ночами, когда эта боль нарастает... Морозом прихвачена серая грязь, трава зеленеет, но иней не тает,

а снег на подходе. Он должен помочь: мой день в совершенном терпении прожит, и снег в эту новую трудную ночь, возможно, пойдёт. Непременно поможет.



Нищенка небесная луна — и светла-то милостью чужою, для чего же царствует она? Даже и над самою душою

человека царствует порой эта погорелица рябая, о своём бесплодье забывая и о плене. Помнишь, над сырой

узкою долиной меж холмами — там ещё часовня на холме... Как же нам такая власть над нами сладостна, и как же это мне

надо знать в мои худые лета (таковое — пятое подряд!) — из чужого брошенного света нищая сошьёт себе наряд.



Я однажды вышла в поле перед тихою рекой и вошла по высшей воле в неожиданный покой,

и судьбе своей дивилась совершенно как чужой... Кратковременная милость неготовою душой

не использована толком, не забыть бы, что была — на закате летнем долгом за сараями села.



Средь пыльного шумного стада — знакомая группа овец, и я, шестилетняя, рада, что вижу своих, наконец.

И сами овечки узнали меня среди многих людей, и прочие овцы за нами — по мелкой густой лебеде,

по дну пересохшего пруда — в село, по дворам, до утра... Такое доверье — откуда? Конечно, овечка мудра:

она поспевает за мною, не то — семенит впереди, душою своею одною внимая глаголу — гряди...

Легка нам дорога крутая — к дощатой калитке подъём, я всё это вспомню, читая о Пастыре Добром своём.



Но так ведь не легче, скорее, напротив — обманут, суля облегчение, слезы. На чёрный, колеблемый речкою плотик садятся листочки ветлы и берёзы.

А сколько их, невероятно красивых, легло на песок, на траву и дорогу! Брожу, собираю — не будучи в силах смириться с потерей, довериться Богу.

Вон там, у дороги, на колотом камне — кленовый, расцвеченный неповторимо... Возможно, протянута с неба рука мне, моя же вслепую протянута мимо.



Птица щегол на берёзе раздетой, а за берёзою чёрное поле. Как я утешена птахою этой, как хорошо мне сегодня на воле —

может быть, я уже перестрадала?.. Небо над зябью как чистая льдинка, птаха меня, наконец, увидала — сорвана скорым крылом паутинка,

листики сбиты. Испуганный щебет — здесь, а сама уже в поле пропала... Два неожиданных облачка в небе — как рукавичек растерянных пара.



«Не правду ль говорит отчаянье?» — «Не верь».— «Но чем я возражу?» — «Ничем не возражай. Не верь ему, и всё — ни после, ни теперь; мучительных задач ночами не решай,

условие любой — заведомая ложь, не трать же сил на них». — «Тот, верно, к Богу вхож, кто в этом убеждён». — «Слабей своих больных неисцелимый врач! И всё же я иных

не ведаю дверей. Единственную дверь решаясь отворить, я знала наперёд: отчаянье меня среди земных потерь не раз ещё найдёт и не того наврёт».



Недолог был бы путь земной, бесплодны были бы усилья, когда бы не смыкали крылья все эти люди надо мной

в мои мучительные дни; откуда только узнавали о том, что худо мне, они: звонили, приходили, звали,

везли на дачу, наконец — в сети всемирной находили... И совершенно не судили за то, что я плохой борец,

что у меня ни дел, ни слов, что я ослаблена виною, и вся защита мне — покров огромных крыльев надо мною.



В асфальте выбоина; в ней немного влаги грязной, талой, но много ль надо птахе малой? Вполне доволен воробей.

А небо нынче в облаках, а тополя пустили смолку... С пахучей веточкой в руках брожу по городу без толку

и забываю про свою вину-беду-судьбу-дорогу, и понемногу, понемногу уподобляюсь воробью.



Я преданный слушатель многоколенных ночных вариаций твоих, соловей, Из вашего племени, кроме плененных, не умер никто ещё смертью своей.

Однако тебе в эту ночь не до страха, Земля обернулась, настала пора — и ты, совершенно свободная птаха, частишь, тарахтишь и дудишь до утра.

И веточку лапками перебираешь, и мнится мне целый томительный миг: ты смертью своей, наконец, умираешь, поскольку нечаянно рая достиг.

Но ты продолжаешь. Ты крохотен телом — и неисчерпаем, и неутомим... Непросто найти в человечестве целом подобных тебе и собратьям твоим.



Горел фонарь. Пробило шесть. В косом неправильном кругу, как невоспринятая весть, перо лежало на снегу.

Светало, растворяя круг, блестел и тёк туман окна, и я почувствовала вдруг, что эта весть была важна,

и что она была — душе, и что она пришла, когда ещё я плакала? Уже спала? Вина ль моя, беда —

никем не принятая весть легла на талый снег пером, и я кружу своим двором, и всё, что знаю, — вести есть.



Маятник

Медный диск, отражая луну, на излёте становится светел. Я теперь непременно усну... Я уснула бы — кто бы ответил...

В темноту погружается диск и восходит, мерцая багрово — отражая лампаду. И снова по дуге своей движется вниз,

чтобы снова напротив луны стать — и двинуться вниз, угасая; отсекая секунду; спасая... Но спасёт ли меня от вины

отсечение прожитых лет?.. Почему это было со мною? Ходит маятник перед стеною нет луны уже. Сна ещё нет.



памяти Ольги

Садится тающая нить на комья почвы рыжеватой. Теряя, учимся любить: когда б теперь была жива ты —

совсем не так бы я с тобой... В сухой траве земля сырая, последний, малый, голубой цветок у срезанного края.

Теперь тебе пообещать могу я только панихиду... Теряя, учимся прощать и не терять живых из виду.

Большой тропы седая твердь, ворота, вывеска, сорока... Ты дополнительного, Смерть, не назначай пока урока.



Когда вернулся белый снег, вернулся чёрный кот, вошёл в косой оконный свет, свернул во тьму ворот.

Сухой снежок, пятно луны, берёза во дворе... Ушёл на пятый день весны, вернулся в декабре.

Шагнув на мёрзлое крыльцо, я вижу при окне его мохнатое лицо, воздетое ко мне.

Не ждали даже старики, вернулся, верь не верь, сквозь невозвратность, вопреки её закону зверь.

Дождался знака от луны, взбежал по сплаву дней. Коты не очень там нужны, а люди, знать, нужней.



На оконной решётке синица— голос в комнате. Скоро зима. На малиновой скатерти спица— хорошо, что ты вяжешь сама.

Ты надёжную кофту связала для оставшейся жизни своей. Стала душною бедная зала от горячих своих батарей,

и раскрытая форточка снова привлекает синицу, и мы— в ожиданьи синичьего слова и затем настоящей зимы.

Хорошо, что готов для преклонных высших лет твоих добрый доспех; не забудь же синиц заоконных — не помочь им в бескормицу грех.



— Невозможно. Не возмочь, не взойти усталым духом... За окном сухую ночь обволакивают пухом

вековые тополя... Не взойду — беда отвесна! — Не взойдёшь — неинтересна станет жизнь тебе твоя,

что тогда? Довольно слёз, восходи по вертикали, чтобы дух — да не вознёс! Чтобы мы — да привыкали

над собою восходить... На дворе уже светает, у стекла паучья нить шубкой пуха обрастает.

Звонкий голос воробья, белый-белый цвет постели...

— Интересна ль жизнь твоя?

Да, пожалуй, в самом деле...



До самой Казанской стояло тепло, под палой листвою трава зеленела, блаженное облако небом текло, и радостно было, и не было дела

до старости близкой. А что же теперь? Порывами зыблемы светлые кроны, зелёною краской покрашена дверь часовни во имя Казанской иконы.

Простая икона — лицо и Дитя, простая история — близкая старость, сознанье, что мало осталось, хотя — не так ведь и мало, на деле, осталось!

Хотя бы совсем ничего впереди — ужель не довольно одной только этой часовни с большою иконой среди осиновой рощи сырой и раздетой?



Это дикие гуси кричат в темноте... Нет, никто не кричит. За амбаром вода, там, по нижние сучья в апрельской воде смутно видимый сад, а над ним — провода

и просветы луны. И никто не кричит — ожидание крика. Он мог бы помочь, но, желтея просветами, странно молчит эта ночь половодья, гусиная ночь.

Как томится готовое эхо в груди! То сижу, то брожу, то ложусь на кровать... Торжествующий крик узнаванья пути — я вот так же хотела бы свой узнавать.



Насекомое старого сада

1.

Я осталась на даче одна и с утра уже многому рада: солнце осени, стёкла окна, насекомое старого сада.

Измеряя железный карниз в паутине, листве и помёте, насекомое пятится вниз... Я люблю его, вы ль не поймёте,

почему не владела душой к ней самой же незрячая жалость: я любовью своей небольшой, недостойной Творенья держалась.

2

Насекомое сил лишено, и осеннее солнце едва ли отогреет его, и окно с понедельника не открывали. Завершает судьба к ноябрю непростое своё поученье, я невесело благодарю... Но когда ещё это значенье

обретала ничтожная тварь, насекомое старого сада, насекомое, певшее встарь за кустом, где трава и ограда?...

3.

Это время иного письма, если стукнула осень калиткой, и сады прометала зима сумасшедшею белою ниткой,

если стайка лукавых синиц (вы кормить бы их, думаю, стали) посетила железный карниз за большими нагими крестами,

если стало известно о том, что под бурым ковром листопада, под надёжным зелёным листом насекомое старого сада.



Огромных ножниц звук сердитый, обрезки грубой простыни, в густой траве — сырые плиты, по сторонам кусты и пни.

Бинтую раненую грушу и душу с нею заодно, мою расщепленную душу стянуло плотно полотно.

Теперь найдёт живая влага свои каналы, а весной... Спасаю древо — ради блага людей, спасающихся мной;

их очень мало, я должна им... Теперь нельзя слабеть бинту, потом, весною, мы узнаем, что груша старая в цвету.



Я устала. Мой труд бесполезен. Я сдала. Я заметно слабей... За окном на гремучем железе — воркотня и возня голубей.

Их большие подвижные тени населили серебряный лес; за верхушками белых растений — яркий холод февральских небес.

Устою ль в обретённом теперь я? Что ещё я до смерти смогу? Тают пальмы серебряной перья—вижу двор в потемневшем снегу.

Это дворник — он лёд разбивает; лёд не нужен и будет разбит. Я устала. Но день прибывает, дворник трудится, голубь трубит.



Здесь меня ждут: как ни поздно уже, выше берёз, на шестом этаже шторкой оранжевой светит окошко. Здесь меня помнят: сырая сторожка

под монастырской стеною в лесу — ноющий чайник на крохотной плитке. Краскою номер на ветхой калитке — здесь меня любят. А я принесу

то, что смогу. И насколько смогу, всё оправдаю. А главное — буду: быть ли победе, случиться ли худу — буду, войду, обниму, не солгу.



…поскольку несла за потерей потерю, всё время себе укрепленья искала, и это нашла. И теперь уже верю, что в северной речке бельё полоскала.

Собор пятиглавый река отражала, кормились рябиною серые птахи, а я в купола и кресты погружала свои полотенца, штаны и рубахи,

вдыхала, собор на куски разбивая, нездешнюю свежесть и едкое мыло... О том, чего не было, память живая — слабей ли того, что, к несчастию, было?



Закат луны... За голый лес под голоса ворон сходило с белёсых утренних небес багрово-жёлтое светило.

Я увидала это вдруг — когда оно стояло низко, а вороньё неслось вокруг большого тлеющего диска.

Потом луна, меняя цвет, зашла за кроны вековые... Прожив на свете столько лет, я это видела впервые.



Сквозь бурную крону просеяло свет: то пасмурно-сер, то серебряно-светел большой одуванчик. Когда бы не ветер! Порыв — и мерцавшего шарика нет,

садятся на комья садовой земли пушинки... О чём я? О чуде ничтожном, свидетельстве кратком, неслышном, неложном — из тех, что не раз уже мне помогли.



Калитка с белой цифрой восемь, за нею дом и огород, сухая солнечная осень, осенних дел невпроворот:

собрать ботву, укутать розу, связать ещё одну метлу... Всего неделю, по прогнозу, стоять осеннему теплу.

Любой зимы суровей старость — за нею нет уже весны, и только тем, что нам осталось, мы все вперед награждены.

Пока хоть что-то можешь — делай, тому спасенье лишь дела, на чью калитку с цифрой белой десница старости легла.



Соло камушка в хоре прибоя, выше дружного рокота звук, непременная звонкая нота в заглушённом финале волны.

Подержать бы его на ладони, показать бы ему небеса, и вернуть неумолчному хору, восходящей волне поручив.



Теперь такое время года — сухая тёплая весна — когда вдыхаема свобода, но сколь загадочна она!

О ней, к большой моей печали, пока известно лишь одно: при вдохе чувствуема, но недостижима ни в начале,

ни на исходе наших лет... Апрельским лесом целый день я брожу, дышу, и что же — нет моей душе освобожденья!

Стою на пне, вбираю вид берёз, небес и огорода... О, как она меня томит своею тайною, свобода!



Валенки, варежки, вёдра, сени со штабелем дров, стужею выгнуло твёрдо белые флаги дворов.

Вдаль от колодца до леса — зимний торжественный вид. Липнет седое железо, цепь, ниспадая, гремит.

Странный при эдакой стуже, слышится голос воды. Будет картошка на ужин мне за дневные труды,

будет... А что ещё будет? Вовремя исцелена я от мечтаний о чуде, жизнь моя будет полна

чудными нечудесами: тем, что до крайнего дня сразу и перед глазами, и под рукой у меня.



Что ж теперь! Дровам — сгорать, чёрной птице тёплой сажей крика рыхлого марать зимних серию пейзажей,

всем, кто знал меня, — судить, мне — суровым зимним лесом за буханками ходить и за прочим интересом

в заметённое село, говоря себе дорогой: «Всё у всех уже прошло, Всё, довольно, стоп, не трогай!..»

В магазине есть вино и пшено, и даже сало. Чьё-то тёмное окно здесь, по улице, мерцало крупным шаром золотым — в доме ёлка. Будто в этом?.. Желтоватой свечкой дым, и по всем иным приметам

завтра снова быть с утра голубой и жёсткой стуже... Почему-то жизнь добра, почему-то... Почему же?



Осень. Уже? Неужели? Да. А за нею зима. В лентах тумана рыжели пятнами рощи холма.

В полдень тумана не стало — каплями сел на траву... Жизнь проходящую — мало, много ль осталось — живу

тщательно, не упуская времени... Или давно всё упустила? Такая сырость! Сегодня окно

законопачу, заклею — вскрою потом, по весне... Что я заране жалею о незаконченном дне?



Расти, когда пора стареть — горчайшей радости не знаю! Успев себя преодолеть, непоправимо опоздаю,

так мало лет освобожу от страха, ревности, обиды... Но я видала с ними виды, и я сегодня нахожу,

что мне дано ещё расти, дано для мира и свободы от лжи и зависти спасти свои оставшиеся годы.

А коль дано, продолжу труд, покуда песенка не спета... И как легко они пройдут, мои счастливейшие лета!



Мы стулья новые несли — трудам достойная награда! А кроны снегом обросли за день сырого снегопада.

Бульвар делили фонари на царства белые чудные, блестели гроздья ледяные, а стульев наших было три.

Янтарный лак, тугой вельвет, и хруст обёрточной бумаги... Добрее власти в мире нет над непокорными умами,

чем та, что в некий миг дана бумаге, снегу, стулу, свету... Но не явленью, не предмету при этом надобна она!



Всё уже произошло, ничего не будет боле, будет позднее тепло, небольшие скирды в поле,

одинокая пчела, ранний снег, луна в тумане... Я уже произошла для чего оно заране

свыше мне отведено — время после — время перед?.. Что во мне теперь не верит, что подарок мне оно?..



Я поняла ещё во сне, что наяву произошло, а наяву осенний снег сошел на сонное село.

А если поле и гора, и все дворы уже в снегу, то в мире больше не вчера, и я иначе жить могу.

Увидеть снег хочу, и вот — две шторы в стороны... Увы — всё тот же чёрный огород, ледок, навоз, копна ботвы...

Иною стать надежды нет! ...Но что тогда со мной во сне произошло, и что за свет как первый снег теперь во мне?



Я в коричневом голом саду, в сером ворохе листьев найду светло-жёлтое яблоко. Да, поняла: не найду — не беда,

ведь оно всё равно уже есть — на закате, в саду, в октябре — ничего, что не взять и не съесть... Снова утро. В сухом серебре

отвердевшие листья, трава, комья почвы и доски стола. Я уже поняла, что жива тем, чего на Земле не нашла.



Утро первого января, над котельною — свечка дыма, за ветвями садов — заря. Ни души. Я шагаю мимо

тёмных окон, пустых дворов: снег изрыт. Меж бутылок прочий мусор праздника. Треск сорочий, кот на штабеле свежих дров...

Как непросто мне! Я иду, чтоб идти, чтоб сейчас поверить, что смогу за спиной беду... Сколько времени — восемь, девять?

От шагов моих снег поёт, изменяется дым с восходом солнца позднего... Бог даёт время новое. С Новым годом!



Весеннюю каплю рябило, смещало по чёрной доске, сместило и оземь разбило... На мокром и сером песке сидела озябшая кошка, рекою текли облака, белела ростками картошка, под рыжим обрывом река шуршала и хлюпала льдиной... А я, головы не покрыв, за нашей собакою Диной бежала на этот обрыв.

За речкой, за талою пашней тянулся таинственный бор... Весною своею тогдашней спасаюсь до нынешних пор. В субботу над той же рекою её призывала опять... Но что же в ней было такое — особое? Век не понять!



Берёзы весенняя крона, немного шальная пчела, нежнейший кочанчик пиона над верной доскою стола.

Окошко уже не преграда, пчела через миг на столе... Как мало я всё-таки рада теплу, и цветку, и пчеле!

Чего-то иного хотела и душу, видать, сорвала — вчера б ещё не было дела, что в сердце пиона пчела.

Полоски берёзовой кожи, трава меж асфальтовых плит... Когда же, однако, и что же меня до конца исцелит?



Я жадных голубей с довольствия сняла: загадили балкон. Отвергнутая стая стучала по стеклу, стонала и звала... Просящему не дать — задача непростая,

но я была тверда. Уже ведь не зима! Уже кругом капель! Предел имеет милость! Пропали сизари... А я в те дни сама переставала ждать. И перестала, мнилось,

и вымыла балкон. Не ждать разумней, да! Но выпал первый снег — и эта стая разом покинула дворы, заборы, провода — и заняла балкон. И рад уроку разум.



Что же дальше?Дальше — лето,тополь в пухе и смоле,удивительного цветапомидоры на столе,

За окном — зонты укропа, во дворе большой щенок... С беспощадного урока прозвенел уже звонок.

Если к пройденному боле возвращаться нужды нет, то отныне ты на воле, вот и весь тебе ответ.

Влажный ветер, солнце в туче, пух, сбиваемый дождём... Зря не веришь. Ты обучен, потому освобождён.



Весна затяжная, сырая, ветра и ночные морозы, на досках обшивки сарая — лишайника серые розы.

Весна не последняя, знаю, и этому именно рада, иду за метлою к сараю — такая мне вышла награда:

владенья угасшего рода от мёртвой травы и соломы избавлю, и будет погода, и всходы, и майские громы...

Мне нравится жить, помогая несчастному старому дому. Берёза белеет нагая, грачи подбирают солому.



Ходит лошадь по земле, по сухой, солоноватой. Таз картошки на столе, у окна — коробка с ватой.

Этой ватой за окно я выталкиваю ветер, я сама не верю, но — дом стоит ещё на свете.

Странен вид его вещей — лампы, таза и комода. Поглотила вату щель — этой щели век без года,

Люди столько не живут, а тем более солдаты... Плотный скатываю жгут из бывалой серой ваты —

коли ветры таковы... Лошадь, выйдя прямо к дому, выбирает из травы унесённую солому.



Шарик ёлочный старше меня— облупившийся розовый шарик. На закате морозного дня— наряжали, пекли, приглашали,

были радостны, возбуждены, шара кроткого не замечали... Он свидетель фамильной вины, он от жалости к нам и печали

стал таким — и средь новых шаров на ровеснице-нитке суровой розовеет, совсем не суров... Мы виновны виною не новой —

нелюбовью, и нас не спасут ни салаты, ни водка, ни гости... Видеть в ёлочном шарике суд или в новом кресте на погосте

видеть суд себе — лишь бы успеть... Если б я увидать не успела, я бы тоже, наверное, пела, раз уж гости затеяли петь.



В растопке мы нуждались и угле, в муке, пшене и бязи для постели, а он белел снаружи на стекле — косой автограф пушкинской метели.

Глядел Ильич с дощатого щита, трепало флаги оттепельным ветром, но чью кибитку помнила верста, разрубленная нашим километром?

Шуршала муза палою листвой, гремело маршем радио в конторе, я странный путь предчувствовала свой, за партой сидя или на заборе.

Я не была умней других детей, но отчего-то Пушкина любила — уже тогда меня его метель с пути прямого пагубного сбила.



Зима прощается — снежок на грязный наст ложится с ночи... Зарубцевался мой ожог, и не спешу я день рабочий

начать, и так хочу сама сказать зиме: прощай. Спасибо: врачом была ты мне, зима, теперь уж выписала, либо

передала меня весне — а я смотрю, бродя кругами, как мельтешит последний снег и как он мокнет под ногами.



Я живу по синичьим часам — день весенний размерила звоном птаха-часики. Ведаешь сам: время дорого. Влага по кронам

тихо двинулась... чудные дни! Если время так дорого стоит — почему же огромны они? А синицыно дело простое:

на рассвете начать и звенеть, интервал золотой отбивая. Тополь высохший ожил на треть вышла каплями смолка живая.

Время за полдень. Вечер далёк, дар велик. А синица — подмога в измерении щедрости Бога, хоть совсем это ей невдомёк.



В сугробах-волнах тонет бор, желтеет маленькое солнце, ведро погрузится в оконце, обрушив лед... С недавних пор

незамерзающий родник и две тропы к нему в сугробах, и люди с вёдрами на тропах, и то, что я одна из них —

спасенье мне, и я бедой не обессилена, спасибо; я всё понять пытаюсь, либо беру ведро — и за водой.



И.Г.

Дано эти грозные сроки почувствовать каждой душе: расходятся наши дороги, и даже не горько уже.

Творенье разбито, разъято, таинственна Высшая Власть... Куда ж ты, однако? А я-то, а я-то куда собралась?



Дар нежданный — тишина, снегопад в огромном парке, невдомёк дозорной галке, что была я лишена

тишины — тому назад много лет, а в этот вечер получила... Снегопад сносит ветром. День помечен

чудом. Слов не надо — вслух, про себя ли — слов не надо, вот — косого снегопада по листу сухому стук.



Но, как нам ни худо бывало — теперь на празднике мы. И зачем же я стану теперь сомневаться? И ты мне поверь: не зря мы пришли в Галилейскую Кану.

Мы званы и выпьем — пусть корчится бес — по доброму случаю выпьем такому за лилию в поле, за птицу небес, за блудного сына, идущего к дому,

за соль и за свет, за начало начал — за Слово у Бога... Но что это с нами? Петух закричал? Молоток застучал? Что короток пир — мы заранее знали.

Окажется страшною наша вина, и горе за горло ухватит и сдавит, и радость от этого, друг мой, вина уйдёт. И воротится. И не оставит.

Содержание

«одно из ведомых чудес»	«На оконной решётке синица»	44
О стихах Марины Бирюковой5	«— Невозможно. Не возмочь»	45
«Не может быть урока проще»	«До самой Казанской стояло тепло»	46
«Я стою в полутьме придела»11	«Это дикие гуси кричат в темноте»	47
«Желтея трухлявой своей древесиной» 12	Насекомое старого сада	48
«Кабы не падавший сутками снег»	«Огромных ножниц звук сердитый»	50
«Чернеет лес, блестит морозец»	«Я устала. Мой труд бесполезен»	51
«Закат рубиновою точкой»15	«Здесь меня ждут: как ни поздно уже»	52
«Горячий абажур. Неяркий гобелен»	«поскольку несла за потерей потерю»	53
«Свежий снег на самом деле»17	«Закат луны За голый лес»	54
«Точно шарики, воробьи»	«Сквозь бурную крону просеяло свет»	55
«Стоит последнее тепло»	«Калитка с белой цифрой восемь»	56
Воздушный змей	«Соло камушка в хоре прибоя»	57
«В мире душа моя — дух начеку»21	«Теперь такое время года»	58
«Снегири перемыли хрусталь»	«Валенки, варежки, вёдра»	59
«Не унимается мороз»	«Что ж теперь! Дровам — сгорать»	60
«Я твердила себе: "Держись"»	«Осень. Уже? Неужели?»	62
«За что ты меня наградил, листопад»	«Расти, когда пора стареть»	63
«В ящики плотно уложена свёкла»	«Мы стулья новые несли»	64
«Сирота с поднебесья, смешной завиток»27	«Всё уже произошло»	65
«Проснёшься ночью — о плохом»	«Я поняла ещё во сне»	66
«Кончается январь»	«Я в коричневом голом саду»	67
«я просто вступаю во время труда»30	«Утро первого января»	68
«Нищенка небесная луна»31	«Весеннюю каплю рябило»	69
«Я однажды вышла в поле»	«Берёзы весенняя крона»	70
«Средь пыльного шумного стада»	«Я жадных голубей с довольствия сняла»	71
«Но так ведь не легче, скорее, напротив»34	«— Что же дальше?»	72
«Птица щегол на берёзе раздетой»	«Весна затяжная, сырая»	73
«"Не правду ль говорит отчаянье?" —	«Ходит лошадь по земле»	74
"Не верь"»	«Шарик ёлочный старше меня»	75
«Недолог был бы путь земной»	«В растопке мы нуждались и угле»	
«В асфальте выбоина; в ней»	«Зима прощается — снежок»	77
«Я преданный слушатель многоколенных»39	«Я живу по синичьим часам»	
«Горел фонарь. Пробило шесть»	«В сугробах-волнах тонет бор»	79
Маятник	«Дано эти грозные сроки»	
«Садится тающая нить»	«Дар нежданный — тишина»	
«Когда вернулся белый снег»43	«Но, как нам ни худо бывало — теперь»	82

Марина Бирюкова Щегол

Стихи

Редактор Оксана Гаркавенко Корректор Марина Новакова Оформление обложки Ольга Афанасьева Компьютерная верстка Елена Шароварникова

Подписано в печать 18.07.12. Бумага мелованная. Гарнитура «GaramondNarrowC». Тираж 500 экз.

Издательство Саратовской митрополии 410035, г. Саратов, ул. Мичурина, 92